

Сегодня лампада горела особенно ярко. Федор Кузьмич покачал головой – неладно, большой расход получается. Сделал фитилек покороче. Вот теперь в самый раз. Огонек мерцал спокойно, ровно – одним словом, умиротворял. Лики икон были едва освещены. А вокруг царила густая деревенская темнота. Близилась полночь. В доме было тихо-тихо. Лишь под полом в сенях чуть слышно скреблась мышь да на кружевной этажерке тикали часы. Все было хорошо, все было правильно... Перекрестился. Начал молиться.

Он рано лишился родителей, а потому во всем привык надеяться на себя. Отслужив в армии, вернулся в свой совхоз, работал механизатором, потом был бригадиром. Когда совхоз развалился, занялся предпринимательством: варил из бересты деготь, пек хлеб, торговал лесом... Может, оттого, что никогда не пил, за бабами не гонялся, быстро встал на ноги: построил большой пятистенок, отхватил несколько гектаров хорошей земли, завел крупнорогатое хозяйство. Взял за себя девушку простую, из бедной семьи, здраво рассудив, что «принцесса» ему ни к чему. Детишек только не нажили, это жаль...

Памятуя о завете «Да убоится жена мужа своего», учил Настю, не без этого. Но бил несильно, а так, для острастки, чтоб не забывала свое место и главу семьи уважала. А ежели в доме не будет уважения к старшему, какой тут порядок – только «разброд и шатания»... Но чаще голубил Настену, жалел, баловал. То платок ей из города привезет, то сервиз чайный, то отрез на платье. Бывало, под хорошее настроение, подкрадется к ней сзади, обнимет крепко и давай нацеловывать. Настя-то рада-радешенька... Может, и не было к жене особой любви, но была привычка, которая, как известно, всего крепче и надежней. А страсти-мордасти – это для индийских фильмов оставим.

С годами отрастил он широкую, как полено, бороду, стал похож на добродетельного купца из старинных книжек. Авторитетом в деревне пользовался беспрекословным. К нему часто ходили за советом, так как судил всегда непредвзято и по-христиански. Предлагали стать председателем сельсовета, он отказывался. Дескать, «последние будут первыми...» Любил читать жития святых, других книжек в руки не брал. Мог пьянице какому-нибудь запропашему поучительным сказанием обозначить греховный путь его и обрисовать посмертные безрадостные перспективы. Любил на поминках брать слово, говорил обстоятельно и со смыслом – поучал. Любил деткам соседским разъяснять трудные места из Священного Писания, приводил понятные примеры из жизни. Ему нравилась эта двойственность: вроде, современный человек, но старой закваски.

Только в церковь не ходил. И когда его спрашивали, отчего опять не был на воскресной службе, отвечал притчею: «А вот послушай, что расскажу. Жил на свете мужичок. Человек как человек, ничего особенного. Да только в храм не ходил. А в те стародавние

времена подобное поведение считалось большим преступлением перед миром. Ежели ты на службы не ходишь, стало быть – колдун, с нечистой силой якшаешься! А наш мужичок в ус не дует – как почувствует, что грехов-то много накопил, выйдет за околицу и давай через бревно прыгать. Прыгает и приговаривает: «Господи, помилуй!» Проезжал однажды батюшка той дорогой. Видит сие деяние и спрашивает:

– Что ж ты, охальник, творишь? Это кто ж тебя надоумил? Скачешь, аки юродивый. Сходи в храм, исповедуйся да причастие прими.

– Так был я в храме, батюшка. В позапрошлом году был. Встал, значит, тихонько в сторонке, решил осмотреться. И тут мне лукавый стал нашептывать: этот, мол, не так кланяется, эта не так одета, хор не то поет... Что ж получается, всех осудил, душе своей ущерб нанес. Куда это годится? И решил, что лучше через бревно прыгать буду...

Чуешь, к чему речь веду? Будь от людей подальше, глядишь, и согресишь поменьше».

Непрост был Федор Кузьмич. На кривой кобыле к нему не подъедешь. И, вроде, жил правильно, по закону, учил односельчан уму-разуму, но не подойти к нему так, по-свойски, не хлопнуть по плечу, мол, как дела, Федя... Не раздавить чекушку. Между ним и человеком всегда какой-то холодок был, недосказанность, что ли... Улыбается хитро да все больше помалкивает, а уже начинаешь думать, в чем провинился, что не так сделал.

Утреннее и вечернее правила Федор Кузьмич всегда вычитывал. Однажды в суете упустил это важное дело, потом ходил сам не свой: чувство такое – будто неумытый или в грязной одежде. В общем, весь день насмарку. Больше он такой оплошности не допускал.

Его вера, по сути, была убежденностью в том, что если он прилежно молится и не грешит, то вправе ожидать награды как в земной, так и в загробной жизни. Это было похоже на соглашение, как на рынке: ты мне – я тебе. Все по-честному, все справедливо...

Есть на свете люди, не склонные к исследованию собственной души, потому что, попробовав однажды взглянуть в себя, открывали такие мрачные бездны, которые более уже не хотелось созерцать. Гораздо проще подобным персонажам жить внешними событиями. Таков был и Федор Кузьмич. Вся религиозная работа, которую он так добросовестно совершал, относилась именно к внешней стороне жизни и к духовности не имела отношения. Он никого по-настоящему не любил. Пожалуй, и себя не любил, то есть не потворствовал собственным желаниям и слабостям, а потому мог считаться аскетом. Впрочем, любил многие вещи из тех, что его окружали и делали мир упорядоченным. Ненависть к хаосу, пожалуй, была единственным сильным чувством, которое его посещало время от времени. Во всем остальном он старался жить ровно, как дышат при размеренной ходьбе...

Все молитвы он знал наизусть, и сейчас губы сами произносили нужные малопонятные обороты, голова была свободна... Порою сердце отзывалось на какое-то удивительное молитвенное слово, начинало учащенно биться, и в эти минуты Федор Кузьмич сам себе удивлялся – вроде, не мальчик уже. И не знал, радоваться или печалиться по такому поводу. Боялся экстаза, «плавающего огонька», видений, потусторонних голосов – всего, что в православной традиции называется «прелестью». Молился хозяин без усилий, как делают

знакомую простую работу... И успевал за время вечернего стояния осмыслить прожитый день и свести дебет с кредитом.

Сейчас его волновал очень важный вопрос: «Продавать ли стог сена Чадушиным?» Заманчиво, очень заманчиво... Цену дают хорошую. Деньги можно положить в Сбербанк под проценты. Но дотянет ли он с оставшимися кормами до весны – хозяйство немалое, всем кушать подавай. И так, и эдак прикидывал хозяин: хорошо бы весна была ранней, чтоб травка поскорей проклюнулась, скотину можно будет на выгон выпустить – тогда ничего, жить можно. А вот если весна будет поздняя, как в прошлом году, когда 2 июня выпал снег, тогда, конечно, дело табак. Придется сено самому покупать, народ засмеет... А, была не была – рискнем! Авось, все образуется. По всем приметам скоро будет тепло.

Вечернее правило закончилось. В комнате стало заметно светлее – это из облаков выбралась тонкая, словно льдинка, луна. Ее лимонный свет тихо сочился сквозь ажурные занавески, заливал пол и широкую кровать. С легким сердцем хозяин залез под одеяло, крепко подвинув сопящую жену. Та двинула плечами, виновато фыркнула и снова мирно засопела.

Федор Кузьмич с удовольствием потянулся на пуховой перине. Пора и ему отдохнуть от трудов праведных. Все хорошо...

Уже засыпая, он стал припоминать еще о какой-то приятной новости. Что-то занятное должно было произойти завтра. Продираясь сквозь дрему, он все-таки докопался до сути. Завтра должна приехать Настина племянница, студентка Таня. Девушка учится в пединституте на художницу, а в деревне решила проходить практику. Будет жить у них.

– Посмотрим, что за редиска городская...

Федор Кузьмич хмыкнул, лег поудобнее и захрапел, довольный собой и собственной жизнью. Чего и желать-то еще?

А глубокой ночью ему приснился сон...

«Мороз и солнце. День чудесный». Все как у Пушкина. Будто сидит он в санях с удивительно замечательной девушкой. Кони трясут гривами, лихо несут по необъятной, горящей на солнце снежной степи. Легкая обжигающая пыль летит навстречу. Как вольно, как молодо! Ни конца ни края этому простору. Только радость, перезвон-перелив колокольчиков. И кажется, что вся жизнь будет такой же солнечной и бесконечной, как эта неоглядная равнина.

Он пытается разглядеть лицо девушки, знает, что она хороша собой, молода, задорна. Но лица не видно за пышным собольим воротником. Только черные цыганские глаза спутницы сверкают озорным огоньком. Федор Кузьмич наклоняется к девушке, крепко обнимает ее и пытается поцеловать. Мешает оцетинившийся воротник. Подруга хохочет, заслоняется варежкой. Но он чувствует, что девушке с ним хорошо лететь в сияющую неизвестность, что ей нравятся знаки внимания. Она кокетничает, но страстно, как кошка, влюблена в него, это хозяину известно наверняка. Да и не хозяин он вовсе, а добрый молодец из русской сказки – статный, ясноокий, черноусой... Нет, не уступает молодец. Натиск, напор, ура! Bastions пали! Целует девицу в уста сахарные...

Но – что такое? Поцелуй-то вышел не крепкий и сочный, как наливное яблочко. Показалось молодцу, будто губы его в густой кисель угодили – липко, противно. Отстранился Федя, и видит перед собой искривленное пошленькой улыбкой старушечье лицо. «Шалунишка», – прошамкал беззубый рот спутницы, и Федор Кузьмич проснулся.

– Приснитися же такая дурь, – чуть слышно проговорил он, усаживаясь на кровати. Не отойдя еще от сна, машинально вытер ладонью губы. Луна так же приветливо глядела в окна. Часы показывали четверть пятого. Понял, что теперь не уснет, оделся и пошел чистить стайки...

* * *

Утром пошел снег, густой, крупный, мохнатый. Начался он как-то сразу, внезапно, словно его включили. И теперь с той стороны окно закрыла белая взвесь, то поднимающаяся вверх, то опускающаяся вниз. Снег, казалось, не долетал до земли, а плавно качался меж горным и дольным, словно был подвешен на невидимых ниточках.

Затеplился рассвет. Стал более отчетливым рисунок деревьев в саду. И хотя ветра не было, выходить на улицу не хотелось. Переделав все утренние дела, Федор Кузьмич важно уселся за стол в ожидании завтрака. По-деревенски тускло горела лампочка в сорок ватт, приветно гудела приземистая русская печь, Настя возилась с чугунками, готовилась накрывать на стол. Закипел электрический самовар. Хозяин, посмотревшись в его блестящие бока, расправил плечи, огладил бороду.

Все вокруг веяло теплом, спокойствием, чистотой. Было ощущение, что он держит свой уютный хрустальный мирок на ладони, оглядывает со всех сторон, любит. Вот именно за это благостное ощущение дома, размеренности, покоя он готов идти в бой, готов разорвать любого, кто покусится на то, что он с таким трудом выпестовал за долгие годы...

Залаяла собака. Хлопнули ворота. Послышались легкие торопливые шаги по ступеням крыльца. Наконец, в дверь постучали, и в комнате появилась Таня. Это была, конечно, она, та самая студентка, одетая по-городскому, сдержанная в движениях, знающая себе цену. Было в ней что-то необычное. Нет, красавицей назвать гостью сложно. Хозяину нравились женщины большие, теплые, что каравай из печи, в теле... А эта невысокая, щупленькая, тщедушная какая-то. Черные, как деготь, волосы коротко подстрижены, губы покрашены... Срамота. Но глаза... Да, глаза, конечно, как море перед грозой. Таинственные, глубокие, с отблесками далеких зарниц... Такие могут с ума свести, пойдешь на дно в два счета и понять не успеешь, как такое с тобой случилось.

Федор Кузьмич покачал недовольно головой. Но тут же с удивлением отметил, что с приходом девушки в избе почему-то стало светлей и просторней, как будто день из обычного вдруг сделался праздничным.

Настя выскочила из кухни, всплеснула от радости руками. Стали с Таней обниматься, целоваться, делиться короткими новостями.

– Тпр-ру! Угомонись ты, Настена, дай человеку в себя прийти, пусть умоется с дороги. И милости просим к столу.

– Ой, и правда! Что это я, заполошная...

Тут же по щучьему веленью на столе появились разносолы и пузатая бутылочка домашнего вина. Таня чинно уселась с краю.

Федор Кузьмич перекрестился, взял большую деревянную ложку и принялся с причмокиваниями и прихваливаниями хлебать редьку с квасом, заедать разваренной дымящейся картошкой. Квас бежал мутными ручейками по бороде, ссыпался каплями на рубашку, а стружки редьки застревают в густом, непролазном валежнике волос. Хозяин напоминал дикого зверя, делающего главное дело в жизни. Схлюпывая с ложки квас, он то и дело поглядывал на гостью, а иногда хитро ей подмигивал, дескать, давай, не тушуйся, тут, чай, не город – наворачивай... Таня сидела, опустив глаза долу, и лениво, ради приличия ковырялась в тарелке.

– Что, не нравится постная пища? Котлетку, небось, хочется? Надо, надо потрудиться, дорогуша. А так-то за что ж тебя в рай пускать? – подбадривал Федор Кузьмич. – Вот картошечку бери, огурчики соленые. Моя Настя на все руки мастерица.

Настя же за столом не сидела ни минуты. Она хлопотала на кухне, приносила к столу капусту, или помидоры, или хлеб, забирала пустые тарелки. В недрах печи у нее что-то кипело, фыркало, булькало, в комнате вились самые неизъяснимые густо-пряные ароматы.

Когда дело дошло до чая и пирогов с брусникой, хозяин слегка откинулся назад, с прищуром оглядел гостью и принялся расспрашивать:

– И на кого в городе учишься? Я в том смысле, кем работать будешь?

– В школу пойду, учителем изобразительного искусства...

– Ишь ты, «искусства»... А к нам надолго?

– На три недели.

Таня отвечала коротко, старательно дышала на остывший чай и на собеседника не смотрела.

– Что-то мало... Надо бы хоть месячишко.

– Хватит и этого. Порисую здешние пейзажи, хорошо бы наброски портретов сделать...

– Портретов? Это чьих же?

– Посмотрим... Найду каких-нибудь живописных дедуль, старушек. Ребятишек хорошо бы нарисовать.

– А мой портрет сможешь сделать? Али рылом не вышел?

Настя, услышавшая обрывок разговора, тоненько засмеялась. Таня метнула на хозяйина быстрый и цепкий взгляд, а потом снова уставилась в чашку.

– Почему же? У вас очень колоритная внешность. Крупные черты лица, борода мощная. Можно попробовать.

– Федор Кузьмич, – вмешалась Настя, – заговорил ты нашу Танюшу. Она ведь не поела ничего. Худая какая, как тростиночка. Совсем тебя город высушил. Аж с лица спала... И чего вы там, в городе-то своем, нашли?

– Ну, завела шарманку, запричитала... – осадил жену Федор Кузьмич. – Меня все ж интересует, когда рисовать начнешь?

– Вас-то? Да хоть сейчас.

– Нет, сейчас я не могу. Мне надо стог Чадушиным продать. Это дело серьезное, времени требует. А вот вечером, пожалуй, можно. А похоже получится?

– Постараюсь...

* * *

Федор Кузьмич надел чистую, отглаженную рубашку, свой парадно-выходной костюм (только от галстука наотрез отказался: не любил их, все ему казалось, что змея вокруг шеи обвивается) и уселся возле обитой листами железа круглобочной печи, которую называл «катрамаркой». Уселся чинно, как сидели на старинных фото его деды в форме царской армии. Пригладил бороду. Рисование – дело долгое, не фотография это, а настоящее искусство – понимать надо. И он это хорошо понимал, поэтому рассчитывал заодно у печи спину погреть. Но Таня пересадила его на середину горницы под свет люстры в три плафона. Объяснила, как держаться, куда руки положить, куда голову повернуть. «Ишь, командирша нашлась», – ворчал про себя хозяин, но подчинялся художнице безропотно.

Работала Таня долго, целый час, не меньше. У хозяина от такого восседания в непривычной позе сильно ломило спину, затекла шея, но он боялся даже мизинцем шевельнуть. Думал, стоит ему двинуться, и на картине начнется ералаш, все смажется, пойдет кривь и вкось.

Таня рисовала без старания и на «объект» смотрела редко. Задание ей казалось несложным, характер схватила сразу. Быстро наметила черты лица, контуры бороды, прорисовку глаз оставила напоследок.

Терпеливо сидел Федор Кузьмич. Трещала печка. Шуршал уголек по бумаге. Все тихомирно.

Наконец, после долгих мучений хозяин услышал долгожданное «Готово!» Таня, словно играя, подала Федору Кузьмичу большой лист бумаги. Хозяин дрожащими руками принял его и увидел на портрете заросшего страшного человека, который из-под густых бровей тяжелым взглядом сверлит зрителя. Увидел узкий лысеющий лоб, выдающийся нос, излом презрительной улыбки – и изумился: «Да разве я такой? Пещерный человек – да и только! Впору с дубиной за мамонтом бегать. Вот, значит, как видит меня эта редиска...» Федор Кузьмич хотел что-то возразить (дескать, он десятилетку закончил, грамоты имеет, газеты читает – нельзя так с человеком), но когда оторвался от портрета, обнаружил, что в комнате остался один. Стоит дурак дураком, держит в руках карикатуру... Вот потеха! Да, нечего сказать – опростоволосился... Выходит, посмеялась над ним Танюшка. Ах ты, стерва!

В знак протеста хозяин пошел спать в теплую кладовку. На мольбы и протесты жены ответил строго, как отрезал: «Я пока в своем доме хозяин. Нечего здесь...»

На стареньком матрасе лежать было жестко. Ноги разогнуть до конца он не мог, упирался в кованный сундук со всякими крупами. Но пути назад, к теплой мягкой постели,

уже не было – он своему слову верен. Покрутился-повертелся с одного бока на другой, кое-как устроился, притих.

Пахло мукой, квашеной капустой и овчиной. У крохотного оконца под самым потолком чуть клубился горьковато-пыльный лунный свет. Здорово сквозило из всех щелей. Федор Кузьмич получше завернулся в тулуп. Спать не хотелось. Лежал с открытыми глазами, изучал на стене хомут, веревки, мешок со старой обувью. «Хомут-то надо выбросить», – подумал он и вздохнул.

Было тоскливо и одиноко. Впервые за столько лет пожалел себя. Долго еще не закрывал глаза, боясь, что ему привидится страшный портрет. Наконец, усталость прожитого дня сковала его тело, веки отяжелели и сомкнулись...

Тут же перед ним возник образ Тани. И что самое удивительное – хозяин был рад увидеть ее вновь – пусть во сне... Раздражение, обида, тоска – все прошло. Осталось чувство легкой грусти: молодость прошла-пролетела, словно и не было ее. Как грустно! Невыносимо... Но сердце вдруг забилося звонче. Он понял, что судьба посылает последний, может быть, шанс, возможность оживить в себе все человеческое, что задал в себе, барахтаясь в повседневных заботах. Он прикоснулся к красоте настоящей, обжигающей, не дающей покоя. Еще боясь точно определить свое состояние, Федор Кузьмич уже догадывался, что с ним происходит. И было совсем не страшно. Приятно сосало под ложечкой, кружилась голова. Подступивший было сон вновь откатился, как морская волна. Хозяин открыл глаза.

– Какая она хрупкая, – забормотал хозяин вслух, не боясь, что его услышат. – Словно заиндевшая на морозе веточка. Кажется, коснись – и рассыплется, разлетится на мелкие осколки...

Захотелось отогреть ее своим дыханием, заслонить своей медвежестью от всевозможных бедствий. Он рванулся с постели, хотел пойти к ней, но тут же сообразил, чем это может обернуться, и лег на место. Так и промаялся всю ночь.

Уже под утро, часов около пяти поднялся, зазвенел тяжелой цепью Шалый, залаял, заголосил. В ту же секунду кто-то принялся колотить палкой в ворота. Федор Кузьмич встретился. И так взвинчен до крайности, а тут еще кого-то нелегкая принесла об эту пору.

Накинул тулуп, сунул босые ноги в растоптанные пимы и заторопился из дому, чтобы дать острастки незваному гостю. В чернильной вышине мигали крупные звезды. В лунном свете дворовый снег отливал серебром, хрустел при каждом шаге, как целлофан. Морозный воздух густо клубился у бороды, растворялся в предутренних сумерках.

Пес тут же присмирел, завалил виновато хвостом, мол, что поделаешь – на то и поставлен, чтоб лаять... Федор Кузьмич нервно сжимал и разжимал кулаки, на языке вертелись острые словечки. Отодвинул тяжелую защелку, распахнул ворота и замер от неожиданности. Перед ним стоял самый настоящий старец, в рубище, с седой бородой до пояса. На шее старца висели тяжелые вериги, в руке был сучковатый посох.

Когда первый испуг прошел, хозяин без лишних вопросов жестом пригласил гостя в дом, решил провести в свою келью, чтоб никого не беспокоить. Было ясно: пришли к нему, другим до этой встречи дела нет.

Стали подниматься по крутому обледенелому крыльцу. И Федор Кузьмич возликовал. Скольким раз читал он подобные истории. Дескать, живет-поживает в пустоши, вдали от людей праведный старец. Никого не принимает, спасается в одиночестве. В молитвах постоянно вопрошает о том, чего еще ему не хватает для полной святости. И вот является ему ангел и говорит: «В такой-то деревне живет женщина смиренная или мужичок-простец. Вот у нее-то (у него) и стоит поучиться настоящей праведности». Историй о том, как спастись в миру, народ сложил немало. Федор Кузьмич завидовал белой завистью героям таких сказаний и в глубине души надеялся, что мудрый старец однажды придет и к нему. И вот, надо же, дождался! От того сердце его прыгало теперь, как детский мячик, от того душа его пела...

– Чем угощать вас? – учтиво спросил Федор Кузьмич, когда они оказались в келье.

Старец задумчиво пожевал губами и с достоинством ответил:

– Пригоршня сухарей и кружка воды – вот вся моя еда...

«Святой, точно святой. Подвижник... Какая сила духа!» – повторял про себя хозяин, исполняя просьбу гостя. Когда старец поел и отер усы залатанным рукавом, хозяин почти-точно склонился перед ним и, не произнося ни слова, стал ждать, когда тот сам заговорит.

– Вот что, мужичок, – начал бесцветным голосом гость. – Было мне видение наемни. Видел я индийский цветок лотос, который раскрылся на вершине холма и превратился в синее пламя. Видел я, как слетаются, словно мотыльки, к этому пламени люди. Много людей. Счета им нет. Подлетят и, обгорая, сыплются золой на землю. А их место занимают новые. Ты стоишь в стороне. Никак не решишь, что делать. А я слышу голос. «Видишь раба сего? Помоги ему, наставь на верный путь. Дай ответ на вопрос, который жжет его пуще огня». Знаю, что у тебя есть нечто, о чем ты хочешь спросить. Нечто важное. Твоя судьба зависит от решения, которое примешь. Спрашивай.

Федор Кузьмич задумался. Как вовремя явился старец, как точно все описал. В самом деле, стоит он сейчас на распутье: «Налево пойдешь...» Хозяин прикидывал, как бы доходчивее изложить суть дела, и не придумал ничего лучше, чем начать рассказ издалека, от самого своего рождения. Сначала мысли его путались, с трудом помещались в коробочки слов, но постепенно он вошел в раж, стал говорить уверенно, гладко, можно сказать, красноречиво... Старик слушал молча, не перебивал. А когда речь зашла о Тане, одобрительно кивнул.

– Что сказать... – начал старец. – Биография полна драматизма. Ты и сам понимаешь: все произошедшее с тобой (хорошее, пустое, плохое) – неспроста. Любое горе – это испытание. Испытание твоей воли, силы духа. Тесные врата не для всякого. Мало избранных. Еще меньше тех, кто пройдет до конца. Ты прошел. И каждое испытание должен отныне бережно хранить в своем сердце, помнить о каждой победе. А сейчас ты получаешь награду. Прямо здесь, на земле. И наградой – тебе любовь, дар великий, чувство высокое, как гора, глубокое, как море. Не всякий его в сердце своем вместит. Но твое сердце закалено. Оно кремень. И ты готов.

– Но ведь это грех, – возразил хозяин. – Соблазн... Или нет?

– Любовь – грех? Вдумайся, что ты несешь! Можешь оставаться в стороне и жить, как прежде, но тогда ты – никудышный, пропащий человек и эта любовь сожжет тебя изну-

три. А можешь схватить птицу счастья... И уже не выпускать из рук! Все зависит только от тебя. Праведник уже победил все мирское, поэтому он выше обычаев и предрассудков. То, что дается слабым, незакаленным людям, как закон, таким, как ты, уже не нужно. Только торжество любви, той самой, что переполняет тебя, имеет значение...»

Старец, видно, долго еще мог говорить, но совсем нехотел пропеть петух, извещая честной народ о приходе нового дня. И это легкомысленное ку-ка-ре-ку прогудело, в тишине как раскаты грома. Ночной гость вдруг скукожился, сильно уменьшился в размерах и, серым дымком просочившись в оконце, исчез, оставив хозяина наедине с его клокочущей страстью.

* * *

И начались полные тоски и страданий дни.

Утром Таня куда-то уходила, называя свою работу сладким, как леденец, словом «пленэр». Федор Кузьмич делал вид серьезный и отрешенный, на Таню старался не смотреть, но, проводив гостью, кручинился. Ох, как ему было плохо без ее темных глаз. Как потешался над собой, ругал последними словами... Он и в самом деле противился нахлынувшему на него странному счастью, но ничего не мог уже поделать.

Бывают вещи сильнее привычки, традиций, убеждений. Что-то похожее на ураган ворвалось в его размеренную жизнь, перевернуло все с ног на голову. Но самое печальное, что возврата назад уже не было...

Теперь дом казался тесным и душным. Но и на улице хозяин не находил себе места. Простая привычная работа уже не радовала, все валилось из рук, поэтому чаще всего он просто слонялся по двору без дела. А порой, встав в дверном проеме сарая, задумчиво гляделся в низкое северное небо.

С ним творилось что-то несуразное. Сердце рвалось на части, но он наслаждался этой болью, впитывал ее, боясь обронить хоть каплю. Настя, подозревая неладное, спрашивала, не заболел ли, но хозяин только рычал на ненавистную супругу.

Тяжелее всего он переживал ночи. Это была настоящая пытка: шесть часов в своей холодной келье метался, как загнанный зверь, повторяя дорогое имя, бросался на стены, разбивал в кровь кулаки, рвал на себе одежду... Его мучила жажда, которой он никак не мог утолить, и от этой безысходности постепенно сходил с ума. Время тянулось призрачно и бесконечно, словно караван в пустыне.

Приближалась Пасха. Но Федор Кузьмич об этом не думал. Он перестал молиться, поститься, читать жития святых. Он устал бороться с самим собой. И все, что его интересовало, волновало сейчас, умещалось в одно короткое слово «Таня». Но сколько было в этом слове: и надежда на лучшую, новую жизнь, и молодость, и счастье... Всего не перечислишь.

Как-то незаметно наступила весна. Однажды около полудня, выбравшись из своей вонючей берлоги, он с удивлением отметил, что зимние косматые тучи разогнал прожектор веселого солнца, с крыш свисают толстые, как деревенские бабы, сосульки, ручьи то-

рят в сером месиве замысловатые пути, победоносно горланят птицы. Прямо на глазах снег из твердого состояния переходит в жидкое, а затем – и в газообразное, о чем свидетельствует пар, поднимающийся от нагретой земли.

Настя выпустила в огород телят, и те носились кругами, как полоумные, смешно дрыгая задними ногами, задирая вверх кучье хвосты. У завалинки нежились поросята, подставляя бока теплым лучам. На огромной куче промерзшего навоза копались куры под предводительством грозного, но справедливого петуха. Даже Шалый не желал отсиживаться в будке, сорвался с цепи и носился по огороду, гоня тех, кто его боялся.

Все вокруг оживало, наливалось силой, приводило себя в порядок, и только Федор Кузьмич усыхал, чах, бледнел. Скоро эта болезненная бледность перейдет в прозрачность, и его не станет на белом свете.

Он, как привидение, шатался по селу, выслеживал Таню, прятался от нее, словно маленький мальчик. Его странное поведение не осталось без внимания сельской общности. Сначала с опаской, а потом и в открытую над ним стали посмеиваться. Но какое дело ему до подобной чепухи? Жизнь обретала смысл, наполнялась светом только с появлением Тани. Много раз он порывался заговорить с ней, но боялся. Не жены, не сплетен... Боялся Таниного отказа, холодного взгляда, насмешки. Это означало бы крах всех его мечтаний. Лучше уж так – грезить о девушке душными ночами, по пятам таскаться днем, ради нее жить, ходить, дышать...

Молодая художница, напротив, не замечала его. Смотрела сквозь, как смотрят в окно, созерцая природу. Ходила целыми днями по дворам, расспрашивала стариков о жизни, делала какие-то наброски. Ее приветливо встречали, угощали чаем, охотно позировали.

Но больше всего, по наблюдениям Федора Кузьмича, Таня любила рисовать покосившиеся избы. Чем хуже избенка, чем хуже крыша и дырявее забор, тем больше времени проводила там девушка. Крепкий рубленый дом Федора Кузьмича, поставленный на кирпичном фундаменте, был неинтересен Тане.

Однажды полдня она потратила на то, чтобы зарисовать сопревшую кучу опилок в лесничестве. В другой раз делала эскиз сломанного трактора. За околицей рисовала поваленную лесину...

Ее умиляла любая живность: теленок-балбес, выскочивший на улицу, хохлатая ворона на ветке, неповоротливый боров, решивший почесать пузо об угол дома. Ее интересовали все, кроме хозяина. Написав злосчастный портрет, Таня не возвращалась к оригиналу. Наверное, в этом не было ее вины. Художнице требовались новые впечатления, смена планов. Она искала вокруг себя настоящее, живое. А он был теперь не слишком живым, уже не принадлежал этому миру и умирал всякий раз, когда видел на том конце села ее тоненькую, едва приметную фигуру.

Федор Кузьмич всерьез подумывал убить Таню и таким образом обратить на себя ее внимание. Но это вполне созревшее решение имело один недостаток: без Тани жить на белом свете ему нельзя.

Получался порочный круг. И выхода не было. Время Таниной практики подходило к концу. Нужно было срочно что-то делать. Но тень, оставшаяся от Федора Кузьмича, была безвольна, глупа и мечтательна. При таком раскладе оставалось только одно средство, к которому прибегают все русские мужики, когда ничего другого уже не остается...

* * *

Больной, издерганный, осунувшийся, он вернулся в избу. Это было похоже на возвращение из долгого плена. Только беда в том, что его несвобода была внутри него самого...

Сел за стол, страхнул невидимые крошки, минуту помолчал. Настя стояла рядом, вытянув шею, готовая тут же выполнить любую просьбу мужа.

– Ты, Настя, вот что... – заговорил он так, словно сбрасывал с себя тяжелые гири. – Сегодня суббота, хочу помыться.

– Баньку затопить? – еще не веря своему счастью, спросила Настя.

– Нет, я у рукомойника ополоснусь! Баню. И пожарче. Чтоб пробрало...

Настя метнулась в сени.

– И вот еще что, – остановил жену Федор Кузьмич, все также тяжело и медленно выговаривая слова. – Венчик вересковый приготовь...

– Сделаю, все сделаю, Федя...

Настя натаскала воды с речки. Затопила печь, сбегала в лес и наломала колючих и пахучих веток. Торопливо выполняя эту нехитрую работу, улыбалась своим мыслям. Было чему радоваться. Вернулся ее Федя, вернулся соколик. Одолел хворь проклятую. Уж как она плакала, как бабушку Агафью просила пошептать слова тайные... Не зря. Сейчас помоемся супруг ее в баньке, во все чистое оденется... Она ему бороду подстрижет, а то ведь зарос, как бусурманин. Танька завтра уедет, и заживут они по-прежнему – в любви и достатке, на зависть другим.

Настя вымыла в бане пол. Печь гудела, как паровозный котел, вода в баке закипела. Все, пора! Замочила в тазике веник, больше похожий на рассерженного ежа. Положила на полок вехотку и новое мыло, оглядела все напоследок зорким глазом и побежала в избу.

– Готово, Феденька! – прошептала, едва переводя дух.

Федор Кузьмич сидел в той же позе, в какой его оставила жена. Теперь он повернул голову на знакомый голос, долго вглядывался в Настю, словно пытался ее по-новому узнать, разглядеть что-то доселе скрытое. Ничего не увидел, вздохнул и тяжело поднялся из-за стола. Настя сунула ему в руки сверток с бельем, едва сдержалась, чтобы не зарыдать в голос. Грузно ступая на кривых ногах, хозяин еще раз исподлобья взглянул на жену, а затем решительно распахнул дверь. Перенося ногу через порог, обронил:

– Бутылку поставь. После бани – первое дело.

– Так ты же никогда... – начала было Настя, но осеклась. Слово мужа – закон.

Парился хозяин долго. Настя даже волноваться стала. Успокаивалась тем, что Федя, считай, три недели к мылу не прикасался, бороды не чесал. Собрала все на стол, в центре

поставила запотевающую, из холодильника, «Столичную». Все было в Настимном хозяйстве, не было только счастья. Но, может, и оно вернется. Все к тому идет. Одумался, приходит в себя хозяин. Видно, вспомнил, что Пасха завтра. Большой праздник. И хотя в церковь они не ходили, но дома всегда отмечали, даже гостей приглашали.

Вернулся Федор Кузьмич разомлевший, – вроде, даже повеселел. Прошла мертвенная бледность, руки перестали дрожать. Скинул фуфайку, сел за стол, отдышался. Устало взглянув на жену, налил полнехонький стакан и выпил в три глотка, словно напоказ.

– Закусывай, Федя, – с тревогой попросила Настя, но муж налил второй и так же молча и скоро выпил.

Опорожнив бутылку, Федор Кузьмич поднялся. Настя, взглянула на мужа и в ужасе отшатнулась. Он был страшен. Глаза, налитые кровью, сверкали гордо и зло. Хозяин скрипел зубами так, что было слышно, наверное, через улицы. Двинулся к жене, занес над ней волосатый кулак и, словно кузнец – молот, опустил его на голову бедной женщины. Настя упала как подкошенная, даже не вскрикнув, – то ли от великого изумления, то ли из уважения к мужу. Шатаясь, хозяин направился в комнату Тани. К несчастью, та была у себя, собирала сумку. Услышав скрип дверных петель, обернулась:

– А, это вы? – сказала только, и принялась раскладывать рисунки.

– Слушай, – сказал Федор Кузьмич, опираясь на косяк, чтобы не упасть. – Поедем со мной. У меня есть деньги, ты не думай, я богатый. Купим дом у моря. Чтoб пальмы, всякое такое. Машину тебе куплю. Будешь у меня жить, как принцесса. Я тебя не обижу.

– Вы это серьезно? – спросила Таня.

– Не придуривайся. Ты же видишь, я сам не свой. Хожу за тобой, как тень. А ты меня (он хотел сказать «игнорируешь»), но решил, что верно не выговорит)... не замечаешь. Собачка я, что ли?

– Кто вас заставляет? Не ходите...

– Только скажи! – продолжал хозяин, все более распаяясь. – Я для тебя все, что хочешь! Весь мир, как ковер, к ногам брошу. Украшенья, платья там, наряды всякие... Все для тебя. Только будь со мной. Я без тебя умру. Уже умираю...

– Да ты пьяный в стельку, – сурово сказала Таня. Лицо ее из равнодушного сделалось суровым. – Посмотри на себя, сволочь. Живешь, как свинья. Настю мучаешь... В чем она виновата?

– Про Настю забудь.

– Уж с кем другим, а с тобой я жить не буду никогда. Хоть режь. Ты же страшный. Как с тобой по улице пройти – люди шарахаться будут.

Хозяин бросился к Тане, схватил ее за плечи так, что она взвизгнула от боли.

– Ты меня не зли. Я ведь могу и по-плохому. Люблю я тебя, дрянь ты эдакая!

Таня, видно, была не из пугливых. Превозмогая боль, она процедила сквозь зубы:

– Так мне в любви еще никто не признавался. Отпусти, синяки останутся...

И тут на мужика что-то нашло: то ли цветочный запах ее волос был тому виной, то ли сама близость к девушке так подействовала... В голове его окончательно помутилось, и он набросился на Таню, как набрасываются на еду после многодневной голодовки. Хозяин рвал ее одежду, вгрызался всем существом своим в ее хрупкое тело. Наверно, она сопро-

тивлялась, царапалась, кусалась, потому что на губах его появился привкус крови, но ему было все равно. Слепленный желанием, рыча и матерясь, он ломал и мял Таню своими огромными лапами. Сколько длился этот страшный праздник плоти, сказать трудно. Но когда хозяин поднял голову, как хищники поднимают свои морды над выпотрошенным брюхом жертвы, увидел полные ужаса глаза жены. Потрясенная происходящим, она не могла ни пошевелиться, ни закричать.

Федор Кузьмич вновь посмотрел на Таню, словно видел ее впервые. Истерзанная, бледная, она едва дышала и была без сознания.

Неужели это сделал он? И правда ли, что все происходит с ним? Проснуться, вернуться в привычный мир!.. Но пробуждения не было.

Федор Кузьмич вытер с бороды кровь, поднялся и, не говоря ни слова, шатко вышел прочь. Он направился в баню, толком не представляя, что собирается сделать. Точнее, тело совершало определенную работу помимо его воли. И он разрешил рукам и ногам действовать самостоятельно.

В бане все еще было жарко, клубился душистый пар. Федор Кузьмич тут же вспотел, но это чепуха! Не главное...

Отыскал поясок от халата (ему хотелось думать, что это – Танин), сделал петлю, свободный конец привязал к скобе под потолком. Прикинул, что надо будет встать на колени – потолок низковат...

Хотел уже накинуть на себя удавку, но почувствовал – что-то мешает, обжигает шею так, что нет возможности терпеть. Пошарил рукой и обнаружил на себе шелковую нитку с крестиком. Сильно рванул ее – не поддается. Рванул еще. Нет, не выходит. А времени мало. Сейчас придут, помешают.

Он суетливо огляделся и заметил у порога ржавый косарь, которым обычно щипал на растопку лучины. Схватил его и с остервенением резанул по нитке.

И дальше все пошло как по маслу...